

Сергей Катков

ВСТРЕЧА

*Значит, нету разлук,
Существует громадная встреча.
И. Бродский*

1.

ИВПАЕН МОЕСОР Егор отложил на вечер, поставив короткий, туго спеленутый сверток в самый конец списка доставок. На карминовой обертке горел золотой росчерк: «Шоколатье Карликанов». Слушая в вагоне метро аудиокнигу, Егор стал подремывать. В то время, как кончик его языка бродил в окрестностях левого коренного, обрушенного, подобно Колизею, сознание сканировало память в радиусе последних полутора лет. Этот Колизей, а потом еще и Пизанская башня неподалеку напомнили события, предшествовавшие промыслу, которым он теперь занимался.

Дядя Семен, торговавший на строительном рынке «Мельница» возле Мосрентгена, неожиданно отказал Егору свою «шестерку» восемьдесят девятого года. Автомобиль, за вычетом ржавчины на брюхе и вытертых кресел, был все тот же классический вишневый седан, с тревожным выражением фар и букетом хронических поражений советского автопрома. «Мельница» постоянно горела, и однажды пожар, бомжевавший в подполе павильонного городка, заполз в дядин магазинчик. Очевидцы только и успели засвидетельствовать, как быстро и весело вспыхнуло помещение со стеллажами лаков, красок, растворителей и другой воспламеняемой снеди. Обугленная вывеска «Добрый поселянин» обрушилась последней. Соседи-среднеазиаты тоже пострадали, но как-то незначительно. После этого дядя Семен подвел итог своей коммерческой деятельности, отписал квартиру в Теплом Стане детям, а сам удалился в овощной поселок залечивать память ерофеичем. Времена наступали сытые:

никто из сыновей не брал умиравшую колымагу с тревожным выражением фар. Прав у Егора не было, из всех достижений современной механики ему известен был велосипед. Если бы между попытками восстановиться в ПТУ Егор не занялся подработками, автомобиль вполне спокойно скончался бы в гараже, где пролежал последние семь лет. Но курьерствовать на четырех, а не на двух колесах казалось сподручнее.

В каком-то смысле Егору повезло. Гастрит, щитовидка, близорукость, классическое плоскостопие и малахольная внешность отвели от него угрозу армии, оставив без «волчьего билета». В автошколе потребовали «военник», и в военкомате Егор долго и унижительно объяснялся, но медкомиссию все равно пришлось пройти. Собственно, сейчас припоминалась тетечка-стоматолог, зубная фея, мельком взглянувшая на траченную кариесом зубную наличность и пропевшая мышинным голоском:

— Все хорошо. Только ма-а-аленькая дырочка. — Егор посмотрел ей прямо в глаза, чуть не крутанув пальцем у виска: четыре Колизея, словно ладьи по углам шахматной доски. Пизанской-то башни еще не было. Рядом с левым коренным она задвигалась позже, не выдержав осады пристрастия к сладкому и шоколаду.

Отучившись в позорной автошколе, Егор приступил к эксплуатации «шестерки». Через полгода капиталовложений и ремонтов он заново оседлал велосипед. В соседнем дворе с пустым взглядом лежал дядюшкин седан, который Егор туда под покровом ночи до толкал в одиночку.

Многokратная пересдача экзаменов на вождение, россыпь мелких унижений и, главным образом, капитальные долги — обо всем этом напоминали Колизей с Пизанской башней, которые Егор шаривал в свободную минуту. Поэтому, когда ему позвонили, предложив работу, ни секунды не колеблясь, он ответил своим «да». Оно и так слишком долго репетировалось, копилось на языке — это «да». Копилось долгами, репетировалось ответами перед займода-телями.

— Нам нужен очень ответственный, очень трудолюбивый, очень пунктуальный и очень... — голос Зятёва, директора шоколадного заводика, зазвенел, — сознательный! Очень сознательный человек нам нужен. Человек! — Зятёв был крикливый человек.

— Конечно, Михалыфимыч. Я курьером пять лет, — заикаясь, соврал Егор. — Я все время... все хорошо... ни задержки... все хорошо... ни разу... — сказал Егор дрожащим голосом.

Зятьев посмотрел на Егора влюбленными глазами. Молодой человек понравился ему тотчас же. Худенький, низкий, косноязычный. Маленькое, скорбное лицо, черты — дробненькие, голос — извиняющийся. Кепка, куртка, затрапезные джинсы, кеды тридцать восьмой размер — курьер в классической эманации. Человек на выезд. Че-ло-ве-чек.

— Как добираетесь до клиента?

— На всем. На метро. Велосипед. Самокат.

— Автомобиль?

— Не... не мобиль... — испугался Егор.

— Так-так. — Зятьев задорно посмотрел на нового сотрудника, застрочил на листке. — Вы нам очень подходите. Кажется... именно вы... искали этой встречи, — пропел он. — Завтра уже выйдете?

— И то! — с энтузиазмом подхватил без пяти минут новенький курьер.

— Звонки мы вам оплачиваем. Рабочие, естественно... Знакомы с нашей продукцией?

— И то... шоколад.

Директор бросил писать, строго, взволнованно произнес:

— Это не просто шоколад! Это эксклюзивная, очень дорогая, очень изысканная продукция. По фирменному рецепту. У нас свое производство. Знаете, да? Это, молодой человек, знаете ли, — шоколад-с! Наши клиенты — господа исключительно состоятельные!

— Я... и то... понимаю... Михалыфим... ович, — пролепетал Егор.

— Я когда тебе сказал, что ты должен быть сознательным, — Зятьев давил уже хозяйственным, приказным тоном, — это в том смысле, что ты обязан хранить секрет фирмы. Знаешь, что это такое?

— И то... и то...

— Это значит, что ты должен расписаться о неразглашении секрета производства. Вот здесь! Немедленно! Вот что это значит!

Директор подсунил листок. От резкого движения передний кончик задрался, лег на пальцы Егора.

— Подпиши. — Авторучка уперлась в пустую линейку.

Так Егор возобновил свою трудовую деятельность. Первые заказы были крошечные «фунтики». К нему присматривались. Продукцию

выдавали с рыскающим взглядом. Задумчиво смотрели вслед. На улицы он шел с улыбкой, перекосившей его незамысловатое лицо. Упаковка в руках — прямоугольный пакет, облицованный кофейной бумагой. Золотой огонь фирменной надписи «Шоколатье Карлика-нов». И все.

Через месяц заказов прибавили, коробочки увеличили. Клиентская география широко и разнообразно дробила городскую карту. Состоятельные господа клиенты селились совсем не в элитных районах. Чаще даже наоборот. В его родном Бутово дверь открыла пьяная голова, а на Щелковской встретила дама, состоявшая из силиконовых долин. Возле метро Егор вспомнил, что это звезда гламурных журналов. Ее фамилией он никогда не интересовался. Так потянулись курьерские трудодни. Вагонами, перехватившими части города сцепками метро.

Теперь Егору доверяли большие, размером с форматную акварель прямоугольники, перетянутые ленточками вроде георгиевских. Содержимое ни в коей мере не должно было интересовать курьера. Инструкция грозила статьей об авторских правах.

Аромат шоколада, вопреки ожиданиям, был не густ и не прян. Наоборот, очень слабый, редко проникавший наружу. Не такой, как обычно. И еще — солоноватый. Потный. Интимный какой-то. И в то же время незабываемый. Он иногда отдаленно снился, не воплощаясь ни в какой образ. Незнакомый, ни с чем не связанный запах. И, по правде говоря, это вовсе был не шоколад.

Чувствуя приближения поезда к станции, Егор выключил аудиокнигу. Поднимаясь по эскалатору, он все еще мысленно слышал мудрый аудиоголос, который обращался напрямую к душе Егора — интонацией хозяина Шамбалы, исходившего все пути мира, хотя на самом деле под гипнотическую музыку надиктовывалась сказка шарлатана Кийосаки про папу богатого и папу бедного.

Егор очень хотел разбогатеть. Очень. У него был бизнес-план. Избавиться от долгов, восстановиться в ПТУ, дополучить образование и устроиться в торговле. Торговля, как говорил голос из Шамбалы, всегда была самым прибыльным делом. Торговать Егор пока не умел, но был легкий путь научиться — аудиокниги, которые можно слушать вполуха и во сне: подсознание само все разложит по полочкам. Ежедневная практика визуализации, как подчеркивал го-

лос, приведет куда надо. Главное, не забывать о намерениях. А уж об остальном пусть позаботится Вселенная.

Обойдя здание метро «Рязанский проспект», курьер направился в глуховатый, лесистый угол Москвы, где находился загадочный ИВПАЕН. Получателем свертка значился некто И.А. Лапшин.

2.

Иван Астраханович Лапшин работал научным сотрудником — библиотекарем при ИВПАЕН МОЕСОР. Слово «контора», конечно, не вязалось с этой железобетонной аббревиатурой, и Лапшин уже давно бросил объяснять, как делал в молодости, что именно кроется за забором аббревиатуры. Была очевидная основательность и всемогущая разветвленность, которую распространяла лапшинская организация в нутро научного мира. Куда ни ткнишь: в любой научный журнал, в палату мер и весов, в патентное бюро, даже в рекламный петит («одобрено специалистами ИВПАЕН»), — везде полукруглым логотипом отпечаталось это экономически-валтасаровское «мене, текел, фарес».

Пожалуй, сам Лапшин уже не помнил разгадки букв, щерившихся на табличке главного институтского подъезда. Здание уходило своим туловищем в большой яблоневый сад, где в самой дальней древесной заводи, на задворках подсобных помещений, в маленьком флигеле и жил Лапшин. Здесь он занимался библиографией, писал статейки, отсюда ходил на кафедру — пятиминутка сада, боковой подъезд и вверх на пятый этаж лестницей вдоль торцевых окон. Здесь выпивал с друзьями, посещался деканом, иностранными гостями, студентами-задолжниками, аспирантами-отшельниками, заблудшими алкогольными душами, одичавшими котами, когтившими деревянное крыльцо. А поздней весной, когда уже совсем настужь окна, по ночам, сквозь парной туман слышался слабый, неисчислимо повторенный звук — будто целый сад веточками возился в бадье. И Лапшин выходил из кухни в майке, в сладких выхлопах сидрового спирта, смотреть, как в соседней комнате, совмещавшей спальню, рабочий кабинет, книгохранилище и гостиную, густой порхавшей сетью толклись несчетные — таинственной, чудесной

странностью — насекомые. Лапшин жил в эти дни, пока не уляжется комариный лет, на кухне, где было сухо, где окна обклеивали янтарные солнечные занавески.

— А как же книги? — спрашивал временный друг, попавший в собутыльники.

— А-а-а... — неопределенно тянул Лапшин, отмахивался от собранных сочинений за стеной, словно и не переживал, если долгожданные журналы и монографии, заказанные из всех мало-мальски вероятных уголков мира, вовремя не слетались на сладкий, цветущий мыслимым и немислимым творческим многообразием нектар лапшинской научной фантазии.

Сидр, который Лапшин сам «варил» — так он называл зачиненное им брожение, — готовился по древнеегипетскому рецепту из мелких, ивпаеновских же яблочек, устилавших дно сада от тыльной стороны института до самого домика. И редкий посетитель, пробираясь к Лапшину, умудрялся не раздавить одну-другую сотню кукольно-желтых головок фруктового дичка, щедро, с насекомоподобным вызовом плодившего свои семена.

Особенно же хорош сидр был по весне, ибо, пережив январские морозы, становился от него густ, а от дубовой бочки и горьковат — это если перецедить его к правой щеке. Если же переиначить к левой — то слащавил, медвяно светился, задерживаясь над устьем в горло, при кадыке, отправляясь в долгое путешествие по многообразным снам тела. Обжигая, он проскальзывал на дно, а вслед за ним плыл крепкий и тяжелый хмельной смог. В июне сидр подходил к концу. Предстояло лето, полное трезвости и книжного аскетизма. Летом Лапшин обычно ничего не писал, только начитывал накопившееся за зиму.

В тот трезвый июньский вечер, когда уже ни насекомых, ни сидра не было, а стояла библиотечная тишина, охраняемая кузнечиком-часовым, и пришел в дом Лапшина курьер.

Хозяин обнаружился в дальнем углу каморки — на диване, в сартровских очках, колыхая дыханием страницу книги, разложенную на груди. Было неясно — спит он или так медленно читает, с вдумчивым упоением. Над ним — светлые рембрандтовские пятна в брейгелевом пейзаже — картина с деревом в центре, наполненная обитанием живописных существ, украдкой выглядывавших из листвы. Театральный круг их — разных мастей кардиналы, совы, хорьки, хамелеоны,

бабочки, жабы, олени, какаду, девочки-куклы с сонными глазами, испанские принцы в горгерах, невнятные неземные создания, — весь этот сонм терпеливо наблюдал присутствие зрителя по ту сторону рамы, словно это мы, люди, были для них картиной, а единственная реальность была там, в рассветном лесу, холодно выкрашенном ослабленной желтизной листвы. Степень реальности этого коллективного сновидения зависела от числа наблюдавших глаз.

— А-а-а, это — встреча, — сказал вдруг Лапшин.

Пока Егор разглядывал очаровательно-ядовитую мешанину образов, Лапшин проснулся и теперь делал вид, что читает.

— Картина называется «Встреча», — уточнил он.

— Я вот принес...

— А-а-а, элитная весищщца, — проскрипел Лапшин, — наконец-то.

Он встал с кровати, взял курьерский пакет, понес в другую комнату, спрашивая, где Егор учился и, случаем, не приносил ли такой же пакет декану, Илье Валентиновичу, с которым они были очень старые друзья.

— Закадычные, — сказал Лапшин, возвратившись. — Знаете, что такое «закадычный»? — спросил он строго, по-экзаменаторски, наплеывая на Егора блюдца раздавленных толстыми стеклами глаз. — Это вот так. — И он крепко щелкнул пальцем по большому кадыку. — Это значит — за кадык!

Лапшин был феноменом: полумифическим гением — для научной аудитории, сказочным персонажем ходульных сюжетов — для студенческих анекдотов, единственным в мире существом, помнившим всю историческую библиографию на русском, английском, немецком и французском за весь книжный период. Он с точностью до точки помнил автора, название, выходные данные, аннотацию и краткое содержание вещества бумажно-картонного океана, каждый год все больше погружающего мир в пучину научно-исследовательского хаоса.

В аспирантской среде есть миф о том, что каллиграфический почерк, которым подписываются кандидатские «корочки» по всей стране, принадлежит одному человеку — горькому пропойце. И все задержки в присвоении научных степеней связаны с его запоями. Мифы о Лапшине, человеке с глазами, скептически наточенными до непримиримой вопросительности, были из той же предметной области. Его называли «человеком-индексом», бесконечно собиравшим знания о знаниях.

Стоило только назвать предметную область, и он, разваливая речь в придаточных, уточняющих, с отрогками производных предлогов, выметывал из варева библиографической памяти стога журналов, монографий, кандидатских, докторских, собрания сочинений, ежегодные, квартальные и юбилейные сборники, классические учебники и безвестные исследовательские очерки. Говорят, было время, когда аспиранты приходили к нему со спрятанными диктофонами — «подпольщики», собиравшие лапшинский бисер еще горячим, новорожденным, пока тот, едва округляясь, скатывался из ложбины уст. Как только маэстро просек уловку, тут же усложнил и разнообразил импровизации многоэтным количеством несуществующих исследований, перемежая их известными, чтобы подозрение в соглядатае лапшинского творчества возникало долго, с сомнением и недоверием сначала к своим ушам и только в самом конце — к первоисточнику.

«Ну, конечно, голубчик, вы знаете “Дипломатическую историю Европы” Дебидура? Об чем, собственно, речь? Собственно, ни об чем. Ведь по глазами вижу, знаете, читали. И Карлейля — безусловно, пробежали хотя бы по корешкам. Данилевский... пожалуй, нет, не то, да, совсем не то. А вот малоизвестный источник — сербский — Душан Зловонич — это да, освежит вашу работу. И литовский — Алоиз Профундис — заставит циркулировать вашу научную мысль. Туда же Хреновину Евоевну, Адриана Джибути, Слона Африканского...»

«Слона?» — остолбеневал соискатель на халявную библиографию.

«Слона! С ушами и бородой», — издевательски напирал Лапшин, как будто лично был знаком со Слоном и не терпел издевки над этой благородной и редкой фамилией.

Библиография от Лапшина — настоящая, неподдельная, с точностью разившая в нужные места вавилонской книжной башни, изголовьем уходившей в разреженность будущего науки, — эти труды, которые могли бы, безо всякого сомнения, натолкнуть исследователя на новые, ранее не использованные в научном обиходе идеи, — такая библиография стоила дорогого. Поэтому на составление списка Иван Астраханович брал несколько напряженных недель и, переживая муки сотворчества научного труда, до которого у него никогда не дойдут руки, намечал резкими, крупными и недвусмысленными пассажами в сторону того, куда должен копать археолог нового исследовательского пласта. Такая библиография освещала, очерчивала — создавала заголовки содержания, ключевые моменты, которые

проявятся в грядущем. Лапшин как бы предвидел модель и образ, зиждителем, демиургом выдувал из горна своего ассоциативно-интуитивного дара платоновское облако форм, передавал его в руки соискателя через эманации источниковой базы и наблюдал, воплотится ли его прометеевский, провидческий огонь в шедевр мастера или останется всего лишь выпускной работой подмастерья.

Сейчас Лапшин занимался собственной причудой, которая в будущем может потянуть на монографию о «поддельщиках времени». Исследовалось поле деятельности китайской промышленности, которая от копий и подделок вещей перешла к подделке самого духа времени. Спрос на древность был уже в эпоху более поздней древности. Во времена, чуть позже антикварных, вовсю процветала курстарная подделка самой сущности антикварного. Копировались мебель, вещички, одежда, монеты, терракотовые солдаты, дворцы, куски Великой Китайской стены, храмы и боевые искусства. Отличить подлинную древность от поддельной мог только специалист. Для обывателя одна древность, которой, скажем, две тысячи лет, а другая, которой две с половиной, не отличается ничем. Длинная цепь артефактов, имитирующих представление о некоторой образцовой древности, закрепощала время в скобы безвременья, в преемственность застоя и, парадоксально, в бесконечное существование Китайской империи.

Современные китайцы занимались уже копированием западного мира, отдельных вещей и целых городов. Возможно, грядущая археология аутентичным будет считать не оригинальный утраченный Париж, стоявший на берегах Сены, а сохранившиеся руины его копии где-нибудь в провинции Фудзянь.

Таким образом, делал вывод Лапшин, уже не существует никакого настоящего прошлого, даже скоро не будет и настоящего настоящего, только полностью поддельное время, копирующее самое себя. Время, запечатленное в предметах и отрефлексированное в подделках, потеряло невинность самоидентичности.

Из-за привычки Лапшина писать под градусом работа вторую неделю вылеживалась в плоскую подделку. И снова необходим был сидр, оставшийся только в одном месте.

— Не составите компанию? — спросил Лапшин и повел Егора в ночь.

3.

Они прошли через сад, скованный сумерками. Возле черного хода Лапшин звякнул связкой ключей, и открылась дверь, ведущая в кафедральные коридоры. Казалось, двое бесцельно блуждают по темным этажам, переходя между крылами здания; на самом деле Астраханыча вело неумолимое чувство сидра. Ключи зазвенели, и двое провалились в темноту кабинета с провокационной табличкой «Кафедра полемической философии». Лапшин засветил настольную лампу, углубился в кафедральные ящики. Большая комната, уютно обставленная библиотечными стеллажами и креслами с подушечками, выглядела совсем по-домашнему, словно кабинет ученого-домоседа, а не место общественных заседаний. В одном ящичке отыскалась бледно-желтая, состарившаяся баклажка. Лапшина часто приглашали на защиты кандидатских. Если он скучал, то не оставался на празднование, а принесенный сидр припрятывал в кабинете. Пара темных, сморщенных фужеров стояла за стеклом шкафа. Лапшин наполнил их и предложил выпить за встречу.

— Знаете, молодой человек, что такое есть «встреча»? — спросил он.

Сидр был приятным на вкус, как говорится, «питким», то есть заманчиво и обманчиво легким. Егор подумал, что это стариковское и женское питье, льстивое.

— Встреча?.. — повторил Егор. — Вы сказали выпить за нашу встречу.

— Э-э-э, не-е-ет, я имею в виду особенную «встречу», — посмеялся старик.

К удовольствию Егора, Лапшин ожидаемо налил по второй.

— Я имею в виду «встречу», с которой вы пришли. Точнее, которую принесли.

— Я принес?

Лапшин испытующе смотрел.

— Пожалуй, открою вам страшную тайну... — проскрипел он.

Старик предполагал говорить долго, с удовольствием и безразличием к тому, что Егору, может быть, уже давно пора по своим делам. Он разложил подушечки в кресле, уселся поверх, закинув ноги в мякотных растоптанных тапках на стол.

— Сначала я думал, что вы знаете, с чем имеете дело. Но когда я сказал «Выпьем за встречу», а вы не признали этот пароль, я понял, как беззащитно эксплуатирует вас работодатель. Ай-яй-яй. Что вы знаете о вашем продукте?

— Знаю, это шоколад, — ответил Егор, добавив: — Ну, это... элитный... шоколад. Для богатых господ.

— А еще?

— Ничего. Документ есть, что не надо смотреть.

— Во-о-от, — сказал Лапшин, выцедив фужер. — А между тем вы имеете дело с самой невероятной субстанцией, изобретенной человечеством. Конечно, никакой это не «шоколад», как вам сказали. Это нечто, у чего нет названия, кроме трехэтажной химической аббревиатуры. Вы ежедневно имеете дело с чудом, а не веруете в него. Держите руки над животворным огнем, а не греетесь. Зрите, но как будто во сне. Этот ваш так называемый «шоколад», эта субстанция называется «встреча».

— Встреча? — повторил Егор, чувствуя, что сидр оказался крепче и его накрывает длинная, откидывающая на лопатки волна.

— Человек издавна мечтал о самопознании. Когда появился древнегреческий досуг, все стали заниматься этим самопознанием. Сократ в своих диалогах делает вид, что смотрит на яркое солнце истины, а на самом деле близоруко щурится на бледное пятно выхода из платоновской пещеры. Самопознание, понимаете ли, в том, чтобы ставить правильные вопросы. Как будто правильные ответы придут сами собой.

Волна уже донесла Егора до кресла, и он внимал гипнотическим речам профессионала философских полемик, так же, как в метро слушал мотивационные аудиокниги. В этот момент оба почувствовали, что сидр оказал на них приятное воздействие. Внутри каждого колыхалось море спокойствия и радости, та синхронность душевных интенций, которая одновременно приходит к двум выпивающим людям, сглаживая неравенство в образовании и возрасте. Сидр в этом море вспыхивал маленькими солнечными янтаринами. Разница между Егором и Лапшиным была теперь только количественная, связанная с числом прожитых лет и прочитанных книг. Не более того. В остальном они были равны. Как равны и понятны друг другу человеческие души, которые у всех просты и одинаковы.

— Человек всегда чувствовал себя одиноким... Великая жизненная нехватка — вот в чем его сердцевина. Постоянная жажда встречи. —

Перед Егором маячило неровное лицо Лапшина, мудреца с голосом из аудиокниг. — Он ежесекундно желает быть уверенным, правым, поддержанным в своем движении. Думает, что нужна бы любовь, нужна поддержка друзей, близких, а на самом деле в нем ждет неизбывное желание «встречи». Мысль об одиночестве ему невыносима. Одни говорят, будто бы человек надвое поделен богами на мужчин и женщин, оттого в нас желание встретить свою гендерную половинку. «Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». А в своем основании полноценно якобы я мыслю себя гермафродитом. Другие говорят, что необходима встреча со всезнающим божеством, открывающим судьбу. Уж очень хочется правильной самореализации. Третьи уверены в самой потрясающей «встрече» — с самим собой. Такая «встреча», говорят, проворачивает психику коловоротом, заставляет взглянуть на себя с беспощадной высоты. Впрочем, совершенно сомнительно. Подлинная «встреча» может быть только со всем множеством своих потенций, со всеми многомировыми вариантами, всемировыми возможностями, со всеми предками и потомками. Со всем бытием, в котором человек на самом деле только узнает себя в какой-нибудь отдельной, крошечной частице. Это и есть «встреча» — увидеть себя в полной картине всебытия, распознать свое единственное место. Будто из сора битого стекла достать и в правильное место в мировой мозаике вставить осколок. Тогда и тебе, и соседям будет удобно. Но «встреча» возможна всего одна.

Душа Егора, к которой напрямую обращался мудрец-Лапшин, всегда ожидала подобного объяснения. Ждала такой встречи.

— В Древней Индии ее называли «сома», в позднесоветское время — «кремлевской таблеткой», которой кормили партийную элиту, — доносился голос Лапшина. — Оказалось, совсем зря. Никто не был способен управлять, не пойми чем не пойми как. Вот что им открыла «встреча». Если бы все следовали открытому «встречей», какой бы мир был тогда... А работодатель мог бы с вами чуток поделиться, — сказал Лапшин, подливая сидр. — Впрочем, разве разносчикам пиццы полагается какой-нибудь бесплатный кусочек, а? Не знаю, не знаю... Но это уж точно не пицца... По секрету скажу, — прошептал Лапшин, — ее сбивают из крови жертвенных агнцев. Словно это волшебный гематоген.

— Из единороговой, что ли? — ляпнул Егор.
Лапшин ухмыльнулся.

— А ведь я тоже был таким... Если бы не случайная «встреча»...

Астраханых рос бездельником и разгильдяем. Сочинял стишки и пиво пил. И так до третьего курса, пока однажды заведующая ивпаеновской кафедрой «Исторической материализации» не угостила его, студента на отчислении, жалости ради, предпоследним кусочком «встречи». Последний берегла для внука. После Лапшин уже знал, что моментально запоминает любую мелочь. И чем мельче мелочь, тем лучше запоминается. Точки, запятые, двоеточия, тире полного собрания сочинений Маркса и Энгельса, ссылки, а главное — цитаты: на этом он накопил себе в научной карьере первоначальный капитал. Стал великим библиографом, а не доносчиком, беспощадным в скрупулезности. По-всякому могло сложиться тогда.

4.

— Скажи, Егор, а чего тебе больше всего хочется? Как думаешь, какая «встреча» — твоя? — спросил библиограф.

— Денег бы... — сказал Егор, поеживаясь. — И побольше...

— А губа не дура... — усмехнулся Лапшин. — И тебе ничего, Егор, кроме денег не надо?

— Ничего, — ответил Егор без запинки.

— Даже хорошая работа? Ну, там, творчество, занятие по душе? Путешествия, общение с интересными людьми?

— Нет... — Егор был непреклонен.

— Ну и ладушки, — заключил Лапшин. Он пробовал заложить нога на ногу, но нога сверху все соскальзывала. — Ну и правильно... В сущности, ты копаешь куда надо, не размениваешься по мелочам. Не ведешься, так сказать, на фату-моргану. На эту всемирную майю, облегающую нашу жизнь платьем драматургии. Это она создает игривое искривление в хрусталике воображения. Но мы никогда не видим ничего по-настоящему. Что нас окружает — кино или реальность? Вот возьми ты побольше денег, наканифоль поверх реальности, назови простые вещи рекламными слоганами — и вот оно, ваше кино! Так выглядит напояженная женщина — рекламным слоганом самой себя. Живопись — реклама для глаз, музыка — звуковое сопровождение рекламы, архитектура и танец — реклама места и жеста. Города и государства — папьемашевные рекламные болван-

ки. Америка — реклама, цивилизация — тоже реклама, творчество и искусство — реклама самой рекламы, кино — длинная рекламная прокламация целой жизни, какой ей хотелось бы быть. Мы все создаем рекламу. О себе, о наших именах и днях. Так что, Егор, стремись, придумай свою рекламу! Занимайся спортом, черт возьми! Футболом, там, баскетболом. Ходи в качалку. Изучай языки. Программируй. Может, ты на самом деле «сборщик маржи»? Деловой человек, а? Обрати на себя внимание. Посмотри, как ты живешь! Какое затрапезное кино ты смотришь! Хватит сидеть в интернете, разглядывать голых баб!

Егор уже несколько минут рассматривал портреты на стене. Там были Эйнштейн, Ньютон и почему-то Эхнатон, фараон-реформатор четырнадцатого века до нашей эры. Он особенно его поразил. Длинное инопланетное лицо, яйцевидный подбородок.

— А может, у вас найдется лишний кусочек... «встречи»? — заикнулся было Егор.

— Но большинству лучше не стремиться к ней... Нет... — отстраняясь, сказал изрядно опившийся Лапшин.

— Это почему? — спросил Егор, зачарованный Эхнатоном.

— Да потому, молодой человек, что зачастую встречаться-то и не с чем. Люди думают, выпади только случай, вот бы, так сказать, встретиться, поговорить обо всем. Выяснить тайну собственного предназначения. А на самом деле встречаться-то и не с чем. Бывает, человек, как дым, выходит в ничто. Не в одиночество одночасья, а голышом выходишь в открытый космос. И все.

— И что тогда?

— Кирдык тогда.

— Кирды-ы-ык?..

5.

В коридорах шарахалось эхо. Изредка Лапшин оживлял его:

— Наша с тобой встреча, мил человек, — ничтожная доля той огромной всечеловеческой «встречи», мил человек...

На мгновение Егор усомнился, уж не дурит ли его старикашка? Худой, с асимметричным лицом, остро вздернутым плечом, в облез-

шем, обвислом свитере. Уж не вешает ли Лапшин ему на уши лапшу? Внимание привлекла быстрая, виртуозная игра теней на стене. Чуткая к ветру листва за окном волновалась в беззвучных аплодисментах. Но когда спускались по лестнице, в торцевом окне Егор увидел совершенно неподвижную картину. Теневую копию той самой, висевшей в каморке Лапшина «Встречи». Люди, звери, существа, кардиналы, предки и потомки, инопланетные Эхнатоны, неподвижные силуэты всего на свете, весь тайный свиток встреч, за которым в речное отражение скатывался осенний брейгелевский лес.

— Есть вещи, которые рационально объяснять нерационально, — сказал напоследок Лапшин.

Егор шел по аллейке, в которой наперекор холодеющей полностью разгорались фонари, и мошкара весело каруселила в их световом прогале. На домах лежала призрачная лунная штукатурка.

Всю дорогу до метро Егор думал, не встретит ли он пустоту, если пойдет на такую «встречу»? И что будет, если встретит именно пустоту? Несколько дней назад очередной клиент не вышел на связь и не забрал заказ. Помимо других странностей шоколадной компании, отказной товар следовало утопить, сжечь, хоть выбросить в атомный реактор, но не возвращать обратно на фирму. Маленькая коробочка, такая же, с которых Егор начинал и которые называли «фунтик», двести граммов волшебной субстанции, теперь хранилась у него дома в холодильнике. Не был ли это подарок работодателя, тайное послание судьбы, которая хотела, чтобы Егор нашел свое предназначение, может быть, даже стал великим? Как Эхнатон.

Отражение Егора шаталось в вагонном окне, словно отдельный, параллельный мир, только притворявшийся отраженным. И когда поезд фиолетовой ветки на несколько минут выскочил на поверхность, отражение, удаляясь, потянулось к огонькам, и параллельные миры окончательно разошлись, а другой, отраженный Егор поехал в ином направлении. Через час этот Егор выйдет на севере города, вернется в квартиру, достанет из холодильника ледяной «фунтик». С ленточкой. Возникнет тонкий, едва различимый запах, настырный, буравящий ноздри, который часто слышался на фирме возле упаковочного цеха. Егор обнажит брусок от фирменной обертки.

Простой неформованный кусок, словно глиняная заготовка. На подтаявших уголках капельные подтеки. Надкусит с краю: не горький, а тошнотворно соленый вкус. Непонятный, совсем не шоколадный. От послевкусия занюют скулы, их свяжет пронзительной оскоминой, и по горлу поплывет замирающая, приносящая внезапную эйфорию надсадная боль. Сквозь нарастающую панику он поймет, что не может остановиться: он должен есть, есть-есть этот шоколад, сладостный, как упоение, как распад личности, как взрыв сновидения. Запоют ангельские хоры, автострадные гудки пронесутся мимо. Задыхаясь, с полным ртом, он упадет на колени. Ледяной ток расчешет мозг, заискрит по нервам. В позвонок пробьется, ударится нега боли и убийственная эйфория. Мышцы желудка и шеи схватятся в каменном спазме. Из рта выйдет вертлявая коричневатая слюна. Упав на бок, он будет плакать и смеяться — одновременно, не различая боль и сладострастие. Будет рыдать от острейшего, непереносимого припадка счастья.

Поезд набирал скорость, проносясь по туннелю, в котором мелькали ослепительные световые обручи. Егор спал и видел сон, в котором переименовался в Эхнатона, изучал науки и языки. Становился гением программирования, основывал корпорации, закладывая религии, и среди них была религия торговли, в которой каждый верующий был продавцом и продавал другому продавцу встречу с самим собой. И пока Егор едет, едет навстречу собственной «встрече», множество других Егоров, встретивших вместо него пустоту, один за другим исчезают из мира.

